
«НАБРОСКИ» АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА
Публикация (подготовка текстов и примечания)*

НАТАЛЬЯ МАЛИНОВСКАЯ

**Набросок выступления
на вечере, посвященном Марии Петровых¹**

У поэтов, настоящих, есть одна загадочная черта – почти пугающая предсказательность. Русской поэзии печально знакомо это таинственное свойство. Все мы помним, как совсем еще мальчик написал: «Нет, я не Байрон, я другой», в нескольких строках исчерпав свою недолгую судьбу, и к этому биографам нечего добавить, кроме загадок и догадок. На рубеже тридцатых Мария Сергеевна, совсем еще молодая – ей двадцать с небольшим, – пишет, словно подводя черту, не вступая в жизнь, а прощально оглядываясь на нее:

*Жизнь моя, где же наша дорога?
Ты не из тех, что идут наизусть.
Знаешь, затворница, недоtroга,
Есть ведь такое, чем я горжусь.
Да, я горжусь, что могла ни на волос
Не покривить ни единой строкой,
Не напрягала глухой мой голос,
Не вымогала судьбы другой.*

* *От редакции:* Имя выдающегося поэта-переводчика А. М. Гелескула (1934-2011), многие и многие звучащие в его исполнении стихи классиков испанской, польской, французской поэзии входят сегодня в классику русского искусства поэтического перевода. Поэтов, им переводимых, А.Гелескул представлял не только стихами, но и своим словом о них – в замечательных эссе, предисловиях, выступлениях. Примером тому десятки эссе, предваряющих стихи каждого поэта в книге избранных переводов с испанского и португальского (Анатолий Гелескул. Огни в океане. М., 2011) и в книге переводов с польского («Среди печальных бурь...»). Из польской поэзии XIX-XX веков. СПб., 2010). Свое слово говорил Анатолий Гелескул и о поэтах русских – в разное время и в разной форме, в частности выступая на посвященных им вечерах. В личном архиве сохранились публикуемые здесь «наброски» к трем таким выступлениям – посвященным Анне Ахматовой, Марии Петровых и Давиду Самойлову.

¹ Вечер М. С. Петровых состоялся 26 марта 1980 года в самой большой поточной аудитории здания гуманитарных факультетов МГУ на тогда еще Ленинских горах. Об этом вечере Л. К. Чуковская упоминает в своем дневнике и отмечает: «Поразительно говорили двое – совсем по-разному, но удивительно богато, точно, литературно: Гелескул и Юлия Нейман. Гелескул сказал, что М.С. Петровых – классик. Это правда. Определение очень точное: классик – это не тот поэт, которого судим мы, а тот, который судит нас. М.С. Петровых – одна из вершин русской поэзии XX века: по силе, красоте, чистоте и самобытности голос ее равен любому из лучших».

Когда Марии Сергеевны не стало, в малом зале Союза писателей был вечер ее памяти и, помню, почти все выступавшие говорили, как нелепо и несправедливо, что у нее единственная прижизненная книга, тоненькая и малотиражная, и все обещали если не исправить это недоразумение, то всячески тому содействовать. И вдруг встал А.А. Тарковский и страстно, даже как-то зло сказал – дословно повторить не могу, но за смысл ручаюсь: «О чем мы говорим? В мир пришел поэт, совершил порученное ему и, завершив, ушел. Все остальное неважно – есть книги или нет, и какой у них тираж: пять экземпляров или пять тысяч». Боюсь, его плохо поняли, так мне тогда показалось. Я понял как сумел и попытаюсь объяснить.

Поэт – не сочинитель стихов. У других искусств – музыки, живописи – свой особый язык, особая техника, доступная и внятная лишь профессионалам. У стихов такой техники нет, вернее, учатся ей, начиная говорить, с первых слов на родном языке. Вот инструмент, доступный всем и каждому, – бери и играй. И суть не в искусности, а в мелодии, только вот мелодия – это не отдельное стихотворение, не его рисунок. Она проходит через всю жизнь поэта.

Поэт – не стихотворец. В конце концов есть люди, способные в застолье говорить стихами, в рифму и нимало не затрудняясь. Я знал таких в Грузии и в России, удивлялся им, сознаюсь, завидовал, но в поэты не зачислял. Да и не все поэты – поэты.

Да, поэт – высокопарное, нерусское и едва ли не комичное слово, но другого не придумано. Что за ним? Я и сам представляю смутно, и простите невольное наукообразие, но поэт – это, почти по Эйнштейну, материализованный сгусток энергии – не знаю, творческой, жизненной или космической, но такой, что она изменяет пространство, и чужие судьбы в ее силовом поле тоже меняются, движутся иначе и проникаются ее излучением.

Впервые я увидел Марию Сергеевну в очень печальный день. Москва прощалась с Ахматовой. Дворик морга. Меня подвел к Марии Сергеевне ее любимый ученик, близкий, просто родной человек. Он был убит горем, плакал. Для меня Ахматова существовала как-то нереально, стихами, а его связывала с Ахматовой многолетняя человеческая дружба, насколько это возможно при почти полувековой разнице лет. И первые слова, которые я услышал от Марии Сергеевны – слова к неведомому, впервые увиденному человеку, – она взяла меня за руку и так, чтобы он не слышал, сказала: «Не оставляйте его сегодня одного». Я видел поникшую, тоже убитую горем женщину, и меня пронзил этот материнский инстинкт, тревога за другого, может быть, более незащищенного. Но потом, позже, вспоминать эти слова мне было жутко – словно, она провидела, что через десять лет Анатолий Якобсон² погибнет, и погибнет от одиночества.

² Анатолий Якобсон покончил с собой 28 сент.1978 г. в Иерусалиме. О нем далее в тексте и в примечании к тексту в «наброске», посвященном А.Ахматовой.

Мне довелось видеть Марию Сергеевну и говорить с ней не много раз – наверно, могу сосчитать по пальцам. До выхода ереванской книжки³ я не знал ни одного ее стихотворения. Но с первой встречи понял – не напиши Мария Сергеевна ни единой строки, она была бы и осталась поэтом.

Мне запомнились две ее фразы. Да нет, не две, запомнилось многое. Но эти две, по-моему, помогают в нее вчитаться.

– Я все-таки люблю, когда пишут прямо.

Пастернак называл это «прямым назначением речи»: «настойчивость сказанного, безусловность, нешуточность».

И совсем другое: «Господи, как хочется дождя! Нет и нет... Не будет урожая».

Какой урожай? Кругом асфальт. «А там, во глубине России...». Можно сколько угодно распинаться о любви к родине или нелюбви, и совсем другое – та кровная, телесная связь, которой не нужны слова. Это та любовь, что не бывает слепой.

У Марии Сергеевны есть короткое стихотворение, для такого глубоко русского человека, как она, необычное:

*Народ – непонятное слово.
И зря введено в оборот,
Гляжу на того, на другого –
И вижу людей, не народ.
Несхожие, разные люди –
И праведник тут и злодей,
И я не по праздной причуде
Людьми называю людей.*

Мария Сергеевна мне запомнилась молчаливой, чуткой к собеседнику и скупой на слова. Мне кажется, ей было свойственной, природной вслушиваться, а не изрекать. И поэзия Петровых неповторимо малословна. Испанский философ Ортега-и-Гассет сказал: «Поэт – переводчик человека в его разговоре с самим собой». Беззвучном разговоре. Думаю, что Мария Сергеевна согласилась бы, хотя сама сказала об этом иначе, не так парадоксально:

³ **Мария Петровых.** Дальнее дерево. Ер., изд-во «Айастан», 1968.

Значение ереванской книги невозможно переоценить – она открыла читателю Петровых-поэта. Но кроме того эта книга – замечательное свидетельство дружбы, связывавшей М.С. Петровых и тех, кто задумал это издание, три года одолевая все мыслимые и немыслимые препятствия и, наконец, довел его до типографии и до читателя (а состоялось это прежде всего усилиями литературоведа Левона Мкртчяна). Об истории создания и издания первой книги М. С. Петровых см.: **Левон Мкртчян.** «Так назначено судьбой... Заметки и воспоминания о Марии Петровых. Письма Марии Петровых». Ер., 2000; **Карине Саакянц.** Из архива Левона Мкртчяна. Письма к М. С. Петровых. – Вестник ЕГУ/Общественные науки, серия «Русская филология», 2015, № 1, с.16-31.

*Все больше мы боимся слов
И верим немоте.
И путь жесток, и век суров,
И все слова не те.*

*А то, о чем молчим вдвоем,
Дано лишь нам одним,
Его никак не назовем,
Но неразлучны с ним.*

Ее слова промыты молчанием и, как в старательском лотке, на дне остались лишь самые веские. И молчание это неоднозначно –

*Во мне живого места нет,
И все дороги пройдены,
И я молчу десятки лет
Молчаньем горькой родины.*

Есть и другое молчание – тючевское: «Как сердцу высказать себя?» Молчание горькой родины и невозможности высказаться, пока вся ее жизнь не скажет за нее, пока не родятся стихи, произвольные, неподвластные автору – сами, созрев, разобьют скорлупу и вылетят на свободу. Это взаимопроникающее молчание проясняет стихи и жизнь Марии Сергеевны, но загадка остается, и не мне ее разгадывать.

Когда Марии Сергеевны не стало, однажды Лидия Корнеевна Чуковская спросила меня, что я думаю о загадочности Марии Сергеевны, о загадочности ее стихов и судьбе. Я молчал. И она сама ответила (или спросила): «Душа?» Может быть, это и есть ответ – что отличает поэта от стихотворца.

Душа. Не душевность. Душа – тяжкий и грозный дар, который огромней ранимого и смертного человеческого сердца и требует человека целиком. Ввериться ей – самоотречение, изменить – самоубийство. Не буду суесловить. Мария Сергеевна сказала об этом поистине библейскими стихами:

*Бескрайна душа и страшна,
Как эхо в горах.*

Я не измышляю, а знаю из стихов Марии Сергеевны, что талант, дар она воспринимала не как подарок, которым можно играть и забавляться, а как поручение. Думаю, что точно так же она воспринимала жизнь. И мучилась тем, что поручение не исполнила, или исполнила не так, как должно. Это мы можем протестовать против такого самобичевания, но судить себя иначе она не могла. И ее жестокость к себе – нравственный урок нам и завещание.

Что касается книг и тиражей. Был такой случай. (Описать. Вологда – Кириллов⁴. И поняли, что прочесть надо все и не один раз).

Я убеждался, и об этом надо сказать, что стихи Марии Сергеевны тоньше и глубже чувствуют женщины. По-своему объяснимы попытки, а их было немало, зачислить Петровых по ведомству женской лирики, из поэта сделать поэтессу. Женская лирика, мужская лирика, тихая, громкая, вообще лирика и не лирика – все эти дефиниции, по-моему, чепуха на постном масле. Стихи, как дети, рождаются живыми или мертвыми. Живорожденные растут и умножают жизнь (попутно плодят графоманов, но это уже дело десятое).

И все же есть стихи, которые могла создать только женщина. Вспомните стихотворение Ахматовой, краткое, безыскусное, но такое же великое, как «На холмах Грузии», –

*Как невеста, получаю
Каждый вечер по письму...*

*Я гощу у смерти белой
По дороге в тьму.
«Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому».*

*И стоит звезда большая
Между двух стволов,
Так спокойно обещая
Исполненье снов.*

А вот совсем другое – стихотворение Марии Сергеевны Петровых. Стыдно портить эти стихи скверным прочтением, но хочется, чтобы они прозвучали. Осмелюсь назвать их нерукотворными.

*Скажи, как жить мне, как мне жить
На этом берегу?
Я не могу тебя забыть
И помнить не могу.*

*Я не могу тебя забыть,
Покуда вижу свет,
Я там забуду, может быть,
А может быть, и нет.
А может быть, к душе душа
Приникнет в тишине,*

⁴ В 1970-е годы А. М. Гелескул ближе к осени уезжал в Ферапонтово, на Цыпину гору. «Вологда – Кириллов» – автобусный маршрут на пути в Ферапонтово. Во время одной из таких поездок, разговорившись с попутчиками, А.М. прочел им несколько стихотворений Марии Сергеевны и навсегда запомнил, как они – не имевшие обыкновения читать стихи (хоть и художники), – их восприняли.

*И я воскресну не дыша,
Как вечный сон во сне.*

*На бездыханный берег твой
Возьми меня скорей
И красотой неживой
От жизни отогрей.*

И еще одно позднее, прощальное стихотворение, подсказанное женской душой, знающей, как в муках рождают, в муках растят зернышко жизни, и просто не способной поверить, что все это зря, что смерть сильнее любви.

*Что печального в лете?
Лето в полном расцвете.
Мучит малая малость —
В листьях будто усталость,
Будто скрытость недуга
В этих листьях зелёных,
И морозом и вьюгой
С первых дней опалённых.
Трудно было не сжаться,
От смертей удержаться, —
То тепло, то остуда, —
Нынче вёсны коварны...*

*На листву, как на чудо,
Я гляжу благодарно.*

Это даже не надежда вполголоса. Надежда шепотом. Но в этом простом, чуть ли не простеньком, стихотворении Марии Петровых так отчетливо слышна тревожная материнская вера в тех, кому жить после нее. А значит, и в нас.

Набросок выступления на вечере, посвященном Давиду Самойлову⁵

Трудно и даже как-то неестественно открывать вечер Давида Самойлова. Обычно свои вечера он открывал сам и при этом не витийствовал: две-три фразы, самое необходимое, дальше – стихи. Вообще, казалось, что в большом и малом он следовал пушкинским заветам, и не из почитания, а по какому-то душевному совпадению, особенно этому:

⁵ Вечер состоялся в 1990-е годы в мемориальном музее А. С. Пушкина на Пречистенке, в цикле «Поэт и музыка».

*Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей
И празднословия не дай душе моей.*

С праздностью унылой и любоначалием у Самойлова проблем не было (хотя в дневнике и признавался: «С удовольствием не работаю»). А в празднословии он себя часто упрекал, в стихах упрекал и в разговорах. Но это завышенный счет к себе самому. Думаю, празднословить он попросту не умел. На одном из вечеров, помнится, его спросили: «В ваших стихах часто упоминается Анна. Вот и «Поэт, Пестель и Анна». Не могли бы вы об этом рассказать?» Уж не знаю, какого рассказа ждали, но поэт ответил кратко: «Мою жену зовут Галина Ивановна».

Следуя долгу памяти, тоже буду краток и, насколько сумею, скажу лишь о самом очевидном – таком же очевидном, как сидящая здесь жена поэта Галина Ивановна Медведева. Она могла бы по общему поветрию удариться в мемуаристику, однако взялась за огромную и по нашим временам героическую работу и публикует все новые и новые стихи Самойлова, составляя книги и даже умудряясь их пристраивать – издавать. Перед ее волей, терпением, умом и верностью памяти преклоняю колено.

Мне трудно говорить о Давиде Самойлове, потому что я знал его и не знал – и до сих пор не знаю. Все, что могу сказать, – лишь догадки. Для меня очевидно – и хотел бы ошибиться, – что Давид Самойлов еще не прочтен и не продуман как должно. И не потому, что уже далек от нас или невнятен. Наоборот.

Мы стоим к нему слишком близко и не видим его в полный рост, а порой судим – хотелось бы сказать «не выше сапога», но не хочется, вспоминая и те солдатские сапоги, которые он истоптал, не одну пару, от Волхова до Берлина, и те сапоги литературных генералов, которые хорошо прошли по нему в мирное время.

И еще одно. Казалось, он знал всех и все знали его. Вокруг него непрерывно хороводилась людская карусель – и не вопреки его воле.

*Всего с собой не унесешь,
Останутся на этом свете
Стихи, бессонница, галдеж,
Друзья, возлюбленные, дети.*

И при всем этом он старался жить вдали, не отшельником, но на отшибе. Отшельничество, увы, оставалось мечтой даже в больницах.

Кажется, Есенин о ком-то из стихотворцев, вроде бы о Безыменском, сказал: «Этот умеет. Даже перед своей кухаркой ходит поэтом». В Самойлове ничего жреческого, неземного и вообще возвышенного, в экстазе закатывающего глаза, не было и в помине. И при этом он мне всегда ка-

зался человеком таинственным, который представляется обычным, и не потому, что так ему легче и удобней, а потому, что ему нравится обычность, он любит ее в людях и уважает. Это сквозит и в его стихах.

*Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.*

Вот так и его облик с годами предстает в какой-то обратной перспективе: чем дальше, тем крупнее и загадочней. Он растет, как дерево; какой высоты достигает, я уже не увижу. Зато вижу, как люди повторяют и даже поют стихи, написанные задолго до их рождения.

Есть поэты, и среди них – чудесные, у которых одна песня на всю жизнь. Самойлов – другой. Он владел всеми регистрами и пробовал себя в разных тональностях. Virtuoz применительно к поэту звучит малопочтенно – и напрасно: виртуозом был Пушкин.

Не хочется говорить банальности о подвижничестве, служении слову и т.д. Давид Самойлов работал непрерывно и самозабвенно. Написал, помимо всего, множество стихов о том, какой поэзия должна быть и какой не должна. И при этом, я убежден, он неизменно сознавал, что поэзия – не главное и не самое трудное человеческое дело на земле. Но дело стоящее:

*Не исповедь, не проповедь
Не музыка успеха —
Желание попробовать,
Как отвечает эхо.*

*Как наше настоящее
Поет морозной ранью
И как звучит стоящее
За вековую гранью.*

О будущем, своем и нашем, он говорил гадательно:

*Когда сумбур полународа
Преобразуется в народ,
Придет поэт иного рода...*

Я тем более не берусь гадать, кто придет и придет ли, или лучше бы ему не приходиться. Осенью 91-го, когда Москва строила баррикады, человек моложе Самойлова на полстолетия говорил мне, что в ту ночь, когда ждали штурма и каждый как умел заглушал страх, произвольно, помимо воли, повторял про себя строки, написанные еще до его рождения:

*Век берет человека за ворот
И велит защищать ему город,
Не отпустит его ни чем,*

*В дверь стучится, засовы ломает
И на выбор ему предлагает
Жертвой стать или быть палачом.*

В дневнике Самойлов невесело удивлялся: «Лет десять я исследую практику умирания. Почему у меня все же есть молодые читатели?»

В середине шестидесятых я увидел его впервые, при обстоятельствах незначительных, но по-своему любопытных. Давид Самойлов в это время вел свой семинар. Я ждал под дверью, когда все кончится, сначала скучая, потом с растущим любопытством и под конец с завистью. Из-за двери доносились взрывы хохота, снова и снова, и непонятно было, занятие там или застолье. Наконец кончилось, дверь распахнулась, все высыпали наружу – и я не сразу понял, кто есть кто. Самойлов выглядел моложе своих семинаристов, и если бы не загорелый череп, я бы его проворонил. Взбурженный, порывистый, он выскочил, как школьник на перемену, и школьник не из примерных. Я еще подумал – да, в свое время, классе в седьмом, он ходил с финкой. Оказалось, нет, совсем наоборот. Самойлову нравилась шутка одного из друзей: «Когда началась война, Дезик впервые вышел на улицу и дошел до Берлина».

Потом я расспрашивал ребят, над чем смеялись. Над разным. Например, кто-то из семинаристов (а народ у Самойлова был молодой, дерзкий и самонадеянный) заявил: «До меня русскую поэзию доили за два соска, а я хочу доить за все четыре». «Нет, Саша (или Алеша), – сказал Самойлов, – ты не этого хочешь. Тебе хочется, чтобы вместо молока текла сгущенка. Не потечет».

В последние годы он уже не казался молодым – время и болезни сделали свое дело, но не в этом суть. Сплошь и рядом румяная молодежь пишет старческие стихи и довольна. А стих Самойлова до последнего дня не утратил обаяние молодости, юношескую легкость и дерзость.

Поймите, поэт – не сочинитель стихов. Вообще поэзию трудно назвать искусством, это скорее какая-то неощутимая радиация, которая пронизывает все человеческое жизнестроительство, присутствует в нем или покидает его. И если это искусство, то самое странное, лишенное профессиональных секретов, до конца понятных только профессионалам.

В одном из интервью критик заговорил об удивительной легкости самойловского стиха, его виртуозности – короче, о полном владении стиховой техникой. В ответ на комплименты, он, видимо, усмехнувшись, сказал: «Полвека рифмую. Пора бы и научиться». Инструментом — русской речью — поэт обязан владеть и владеть безупречно, и всем, исключая гра-

фоманов, понятно, что этого мало.

Язык поэзии, он же инструмент, дается каждому с молоком матери. Действительно, ребенок не возьмет в руки виолончель, а стихи сочиняет, с ходу и порой чудесные, а потом забывает эту игру. Кое-кто, самые памятливые или честолюбивые, становятся стихотворцами, и лишь очень и очень немногие – поэтами. А поэт может и не писать стихами и даже не подозревать, как они выглядят, свидетельством тому народные песни. Кстати, Лев Толстой в «Исповеди» именуется не писателем, не романистом, а поэтом.

Очевидно, назначение поэта – несколько иное, чем принято думать. Если мы и впрямь наделены свободой воли, то те немногие, кого называем поэтами, не просто свидетельствуют об этой нелегкой свободе, но воплощают ее. Они не пасуют перед судьбой, выбирают ее и за верность выбирают, как и за измену ему, платят полной мерой – жизнью.

Давид Самойлов в дневнике пишет: «Биография дана, судьбу выбирают». И в этом выборе, мне кажется, всегда опираются на культуру, потому что, помимо всего, а может, и прежде всего – способность отличать белое от черного, а отличать надо быстро и безошибочно – жизнь не отводит на это лишнего времени.

Давид Самойлов – человек культуры. А это редкость. И совсем не то же самое, что культурный человек, хотя это тоже не на каждом шагу встречается. Человек культуры – сознательный участник вечного и всеобщего строительства, короче – создатель. Культуру Самойлов понимал широко и целостно, не только как единственную, по его словам, «заручку против варварства и гибели», но как общую цель, всеобщее призвание, как форму народного бытия. Культура строится всем миром, и потому Самойлов, не последний в рабочей артели, пишет в дневнике с непривычной даже торжественностью: «Я – народ», – тут же добавляя с привычной иронией: «Мешает анкета».

Неприязнь к культуре у нас дело привычное, что вчера, что сегодня, что третьего дни. Сквозняком неприязни тянет и слева и справа, и снизу, и особенно сверху – видно, сильно досадила культура и, в частности, русская литература, неправильно учившая народ не любить наживу и начальство. Конечно, лучше б учила холуйству и волчьим нравам. Ведь культура, помимо всего, – это забота о потомках, а волки никогда не защищают потомство. Охотники это хорошо знают. Воробей защищает, а волки – нет. Шкура дороже. Культура – залог жизни, ее инстинкт самосохранения. И те, кто кладет посильный камень в это строение, строят не для себя. В этом, наверно, секрет силы и самоотверженности лучших. Самойлов верил, что «Россию может изменить миллион сознательных просветителей, пропагандистов права и добра». К просветителям он относил Сахарова и Солженицына. А говоря о культуре в узком смысле, утверждал: «Поэт –

органическое превышение обязанностей над правами».

В этом суженном пространстве – какое место он отводил себе, вернее, какой судьбы домогался? В общем, такой же, какая ему выпала – беспокойной, азартной, кочевой, всегда в гуще событий и как-то отдельно от них, на отшибе. С одной поправкой:

*Я хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.*

Разумеется, не при новой российской армии, освеженной студентами и аспирантами. Он говорил о том молодом приливе культуры, который вскипает, когда молодо время. Как в начале прошлого века, как в начале нашего⁶. В такие времена, в пору взлета и обновления Самойлов был бы на месте. Представьте гул и напор этой молодой, полнокровной культуры, ее походные ритмы – и чуть в стороне, на обочине, полуярмарочная, полуцыганская кибитка с чудесами в решетке.

Сегодня тон в культуре (или в том, что ее заменяет) задают эксгибиционисты – а это престарелые ужимки, склеротический воздух конца века. Самойлов не зря жаловался: «Наша литература едина. В ней господствует старческая скука». Думаю, когда время помолодеет, культуру ждут нечаянные радости, и немалые; кто доживет – убедится. Воистину, «Поэзия, тебе полезны грозы». Но грозы, а не воровские разборки.

Давид Самойлов – поэт трудной судьбы и огромной культуры. И, повторюсь, один из строителей нашей культуры, сегодняшней и завтрашней. Малоизвестная подробность – он сохранил записные книжки военных лет. Истрепанные, карандашные, выцветшие, они испещрены записями, рисунками, стихами, и оказывается, иные стихи, которые мы считали поздними, 70-х годов («Балканские песни», например), были задуманы, начаты или написаны тогда, между боями. На пути от Тихвина к Зееловским высотам – когда жизнь могла прерваться на каждом шагу.

Как ни странно это сознавать, Давид Самойлов — грустный поэт. А самые, может быть, глубокие и одухотворенные его стихи – о смерти. Одно из последних:

<i>Навсегда с тобой расстанусь, Навсегда. Нарастающая старость – Не беда.</i>	<i>Не твоя беда, не наша, А моя. Предо мной пустая чаша Бытия.</i>
---	--

Он выпил эту чашу до дна, по-воински, с равной готовностью принимая ее хмель, и горечь, и последний черный осадок. Надо ли говорить, что

⁶ Напомню – текст написан в девяностые годы, речь идет о XX веке. Иллюзий относительно нулевых у автора не было: «Нулевые – они и есть нулевые. В лучшем случае».

смерть не завораживала его и не пугала; с ней он был, как говорится, на короткой ноге. «Исследую практику умирания» – это самойловская ирония, ничего в стихах он не исследовал. Он прощался.

Мне кажется, Самойлову пришлось бы по душе слова испанца Ортеги-и-Гассета: «Жизнь – это выстрел в упор, и культуру – самопознание жизни – нельзя отложить на потом». По крайней мере, сам он не откладывал ее «на потом» – и в обстоятельствах, которые испанскому философу и не снились. И, думаю, Ортеге в свой черед пришлось бы по душе мимоходом оброненная фраза Самойлова в ответе на анкету: «Поэт прикасается к высшим категориям бытия, которые всегда безнадежны».

В дневниках он пишет: «Литература решает вопрос – можно или невозможно человеку жить в этом мире». Задолго до Самойлова Альбер Камю выразился еще определенной – «стоит жизнь или не стоит того, чтобы ее прожить». Не знаю, может быть, у философии есть вопросы и пофундаментальной, но для человека это действительно единственный, неизбежный и пожизненный вопрос.

Готовя сегодняшний вечер, мы⁷ рискнули соединить стихи с музыкой отнюдь не для иллюстративности: вот стихи о Шуберте, а вот вам сам Шуберт. Стихи и музыка чаще мешают, чем помогают друг другу. Но, мне кажется, что музыка решает тот же вопрос: стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. И как ее прожить, чтобы она того стоила. Музыка, вдохновлявшая поэта, быть может, поможет вслушаться в него.

Говорят, поэтом, как и молодым, надо родиться. Самойлову выпало и то, и другое. Он поэт молодости, в чем вы убедитесь даже по тембру голоса, пусть и притушенного записью⁸.

Я читал, что на могиле Стендаля высечена надпись: «Писал, любил, жил». Могила Самойлова далеко, отделена границей, которой при жизни не было.

Странно думать, что Давид Самойлов, мечтавший в России затеряться, не при жизни, не по своей воле, посмертно стал эмигрантом.

Будь моя воля, я бы в той стендалевской надписи переставил слова – «Любил, жил, творил». Как известно, без любви мы гробы повапленные. Давид Самойлов был наделен этим молодым и высоким даром в избытке. Любвию к женщине и к жизни, к миру и его причудам, к людям и к одиночеству.

*Чего еще? В траве лежать,
Всю ночь прислушиваясь к полю,
И руку медленно разжать,
Чтобы сердце выпустить на волю.*

⁷ Когда у нас возникла идея вечера, я рассказала о ней подруге, работавшей в концертном отделе Музея А. С. Пушкина, музыковеду С.В.Казаковой (1949–2013), и она озвучила музыкальную часть вечера. Композицию вечера предложил А.Г., учтя все коррективы, предложенные вдовой поэта Г.И. Медведевой.

⁸ На вечере звучали стихи Самойлова в авторском исполнении.

Рука разжалась – и его нет. Но думать об этом не хочется. Когда вспоминаю его, меня преследует одна строфа, четыре строчки, но мне кажется, в них весь Самойлов. Очень простые:

*И в этот час, когда я сплю,
Открытый небесам,
Во сне кого-то я люблю,
Кого – не знаю сам.*

И кажется, будто звучит его вечно живой голос.

Набросок выступления на вечере, посвященном Анне Ахматовой⁹

Скажу честно, говорить об Анне Андреевне с моей стороны слишком самонадеянно. Но на эту хлестаковщину меня подвигла Ника Николаевна Глен¹⁰ простым и довольно грустным доводом. Людей, видевших Анну Андреевну, осталось мало и остается все меньше. Людей, видевших Марину Ивановну (Цветаеву – Н. М.), думаю, уже не осталось. И свидетельство очевидца, пусть даже самое скудное, может быть, имеет какой-то смысл.

Я не принадлежал к числу посетителей Анны Андреевны и уж тем более знакомых и друзей. Видел ее и говорил с ней единственный раз в жизни, за полгода до ее кончины¹¹. А круг ее посетителей (по крайней мере, когда она приезжала в Москву) был необозрим. Помню, как молодой поэт, пробегая мимо, возбужденно крикнул мне: «Еду к Ахматовой! Будет интересный разговор». Я испытал не зависть – Ахматова тогда существовала для меня нереально, в каком-то четвертом измерении, – а недоумение. Как можно бежать к Ахматовой в предвкушении «интересного разговора»? А чем ты сам интересен, чем ты ее можешь заинтересовать, отнимая бесценное время?

Я ошибался. Если бы она не хотела, не было бы такого паломничества, и прежде всего молодежи, литературной и не литературной. Когда-то она написала:

⁹ Вечер состоялся в 1998 г. Думаю, что в Доме литераторов, но не уверена.

¹⁰ Глен Н. Н. (1928-2005) – переводчица с болгарского, с 1956 г. по 1983 г. редактор изд. «Художественная литература», с 1958 г. по 1963 г. литературный секретарь А. А. Ахматовой, которая оставила ей часть своего литературного архива (ныне в Музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге). Была одним из самых близких друзей А. А. Ахматовой. В дневнике Л.К.Чуковской есть датированная днями похорон Ахматовой запись о перелете гроба из Москвы в Ленинград: «Из друзей – не из казенных людей – с гробом полетят: Ника, Юля (Ю.М.Живова) Надежда Яковлевна (Мандельштам), Мария Сергеевна (Петровых)».

¹¹ В октябре 1965-го.

*О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.*

Понятно это великое материнское чувство. И понятно, что обращено оно не только к поэтам, но и к ним тоже. Но надо сказать и о другом. Поэты, и великие тоже, нередко эгоцентричны, сосредоточены на себе. Это объяснимо: их инструмент – это их внутренний мир. Анна Андреевна всегда, всю жизнь тревожно держала руку на пульсе времени и, конечно, литературы тоже. Ей было жизненно необходимо чувствовать, что творится при ней, и еще необходимей – что будет после нее. С Россией, с русской культурой, с ее самой строгой любовью – с русской речью.

Один мой перевод начинался «Их кони черным-черны»¹². Едва я начал читать, Анна Андреевна заметила, что в русском языке кони не бывают черными. Я воспротивился, сказал, что речь идет не о вороной масти, что это некий образ черной силы – черные плащи, черные кони, и подковы у них черные, каких не бывает. Анна Андреевна неохотно согласилась, но добавила: «Однажды мой брат приехал к своей невесте, и она воскликнула: «О, вы сегодня приехали на черной лошади». И, вы знаете, он не женился». Признаться, мне стало зябко. Брат не женился из-за языковой ошибки, а я, выскочка, полагаю, что владею русским языком.

Я вспомнил это недавно, когда по телевизору видный экономист, рассуждая о злосчастном курсе доллара, несколько раз повторил «множество курсов». Ну, я только усмехнулся, а для Анны Андреевны это прозвучало бы серьезнее. Одной из ее первых публикаций, после долгих лет, были переводы Юлиана Тувима – и то как бы не совсем на родине – в журнале «Польша»¹³. Мне кажется, это лучшие ее переводы, изумительные своей пушкинской точностью и, смею заверить, что совершенно равноценно, читать ли эти стихи в подлиннике или в переводе Ахматовой. Но в перевод стихотворения «Цыганская библия» вкралась опечатка: вместо «запах нарда» напечатано «запах народа»¹⁴. Анну Андреевну с сердечным приступом увезла Скорая.

¹² Строка из «Романса об испанской жандармерии» Ф. Гарсиа Лорки.

¹³ Журнал «Польша» издавался в ПНР с 1954 г. до конца 1970-х гг. на девяти языках, в том числе на русском тиражом 350 тысяч экземпляров.

¹⁴ Опечатка, увы, стала каноническим вариантом. Привожу повсеместно публикуемый перевод Ахматовой:

Цыганская библия

Что цыганскою библией стало –

Колдовскою, изустной, бездомной?..

Только бабам напев ее темный

Шепчет ночь на Ивана Купала.

В этой книге - **дыханье народа**,

Шелест леса, гаданье по звездам,

Тень могил, пятьдесят две карты,

Белый призрак, что век не опознан.

В переводе упоминался нард, в оригинале — мирт: I aromat w niej, jak mirt rozdarty...

Замену «мирт — нард» естественно считать адекватной: нард — древнейшее ароматическое растение, поминаемое в Библии.

К Анне Андреевне меня привел, едва ли не притащил, мой друг Анатолий Якобсон¹⁵. Учитель, переводчик, эссеист, известный правозащитник. Да много чем был этот незабываемый человек, погибший ровно двадцать лет назад. И я не знал и не знаю никого, кто был бы так влюблен в русскую поэзию и чувствовал ее каждой клеткой. Однажды он сказал мне, что мечтал и пробовал писать стихи, но, прочтя Цветаеву (тогда еще в списках), понял, что все уже написано, и за него тоже. Но одно стихотворение он написал¹⁶ – стихотворение посвящено Ахматовой, стихотворение о ней:

*Рука всевластная судьбы...
Россию взвесила, как глыбу,
И подняла — не на дыбы,
Как Петр когда-то, а на дыбу.
И на весу гремят составы,
Несутся годы-поезда;
Отменная была езда:
Мгла — впереди и бездна — под,
И от заставы до заставы —
Все вывернутые суставы,
Все смертный хрип да смертный пот.
Но, извиваясь от удушья,
Вручая крестной муке плоть,
Россия, как велел Господь,
В ту пору возлюбила душу:
Себе самой могилу рыть,
Любые вынести глумленья,
Но душу спрятать, душу скрыть,
Спасти — живую — от растленья.
Надежный отыскать сосуд,
Чтоб в нем душа, как хлеб в котомке,
А там — какой угодно суд
Пускай произнесут потомки.
В одной крови себя избыть,
В одном дыханье претвориться —
В наперснице своей судьбы,
В сестре, избраннице, царице.
Найти такую. И обречь
На муки. И — святынь святей —
Собою заслонив, сберечь
От тысячи смертей.*

¹⁵ Якобсон А.А. (1935-1978) – поэт, переводчик, историк русской литературы. Автор работ о Блоке, Пастернаке, Ахматовой, Платонове, Шаламове. Переводил поэзию с английского, итальянского, французского, польского и испанского языков. Был редактором «Хроники текущих событий» (1969-1972). В 1973 г. был вынужден эмигрировать в Израиль, где работал на факультете славистики Иерусалимского университета. Был одним из самых близких друзей А. Гелескула.

¹⁶ Конечно, не одно. У А. Якобсона много стихов, в том числе есть посвященные М.Петровых и Д.Самойлову.

Анна Андреевна была тронута. У нее была папка «Ахматовка». Стихотворение легло туда, а между Анной Андреевной и Анатолием Якобсоном возникла многолетняя дружба – в какой мере она возможна при такой (полувековой) разнице лет.

Была поздняя осень, жидкий московский снег. Сокольники – тогда московская окраина. Хлюпающий двор, две доски (речь о подобии тротуара – Н.М.). Старый кирпичный дом, третий или четвертый этаж – разумеется, без лифта. Вот так, на излете жизни Ахматова общалась с миром¹⁷.

Незадолго до того¹⁸ Анна Андреевна получила в Италии премию с красивым и каким-то даже символическим названием «Этна». Вручали в Таормине¹⁹, в старинном сицилийском замке. Когда она вошла и увидела бесконечную винтовую лестницу²⁰, по которой ей предстояло подниматься, она спокойно, но с тайным уважением спросила: «Это там дают премии?» Винтовая лестница красива, но не для женщины, перенесшей несколько инфарктов и на пороге восьмидесятилетия.

И вообще жизнь Анны Андреевны надо мерить иначе – как на войне, год за три. Она написала:

*За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом.
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.*

¹⁷ В октябре 1965 г. Ахматова останавливалась в Сокольниках у Л. Д. Стенич-Большинцовой, с которой, как и с ее первым мужем, поэтом и переводчиком В. О. Сметанич-Стеничем, ее связывало давнее знакомство. Любовь Давыдовна, так же как и муж, занималась переводами с английского и французского языков и принадлежала к ближнему кругу Ахматовой. Квартира располагалась на пятом этаже без лифта.

¹⁸ В декабре 1964 г. Ахматова по приглашению Европейского сообщества писателей более трех недель была в Италии и на Сицилии на сессии сообщества, по завершении которой 12 декабря ей была вручена международная литературная премия «Этна-Таормина» (премия по названию одного из древнейших сицилийских городов).

¹⁹ Неточность. Церемония вручения премии «Этна-Таормина» происходит в другом месте, замке Урсино, построенном в середине XI в. в Катании. Это одно из немногих сооружений в городе, переживших землетрясения 1693 и 1818 годов. Ныне в замке размещается Городской музей Катании. Вместе с премией Ахматовой был преподнесен именной экземпляр тома Данте в издании «Канези» – «Божественная Комедия» с иллюстрациями Боттичелли.

²⁰ Об этом эпизоде, вспоминая рассказ Ахматовой о нем, говорит литературовед А.А.Саакянц, запомнившая, что в ахматовском повествовании приводилось точное число ступеней — сто двадцать: «Отступить было некуда, Анна Андреевна мысленно прикинула, осилит ли подъем, взяла себя в руки, подумала: «Ну, похоронят по третьему разряду», – и мужественно преодолела лестницу». В воспоминаниях историка литературы И. С. Эвентова тот же эпизод выглядит так: «Торжественность и величавость момента были таковы, что, если бы я хоть чуть заколебалась, меня бы немедленно усадили в кресло и понесли вверх. Такого позора я допустить не могла. И я двинулась храбро вперед. Так я поднялась на вершину славы, – закончила она и, чтобы сбить слишком высокое звучание фразы, добавила: – Задыхаясь и кряхтя».

А ведь десять лет – лишь малая часть ее несладкой жизни.

Не надо объяснять, что я сильно трусил. Не знаю, что я ожидал увидеть – императрицу, легенду, статую командора или саму музу с величавым контральто и экстатическим взором. Но в первую минуту страха как не бывало. Я увидел доброе лицо русской бабушки. И глаза были добрые, заметно лукавые и все понимающие.

Сначала – гости. То ли визит затянулся, но витало что-то чинное и тягостное. Потом мы остались втроем, и разговор пошел вольный, о самом разном, с шутками и смехом. Но нить разговора направляла она и твердо держала в руке. Например, сообщила, что в Италии ей говорили – не помню, кто, – что в поэзии двадцатого века испанцы – боги, а русские – полубоги.

И спросила меня: «А вы как думаете?» Как думал, так и ответил. Испанскую поэзию люблю, а русская – родная, и сторонним судьей быть не могу, я не Хронос. Ответ искренний, но банальный, и ради справедливости я добавил: «Любой грамотный итальянец читает испанских поэтов в подлиннике, а русских – даже не в прозаическом переводе, а в подстрочном, и часто смехотворном». Это правда. Анна Андреевна оживилась: «Да, мне там подарили антологию русской поэзии. Действительно, все мы одинаковые, все пишем прозой. И представьте, в антологии нет Анненского. Наверно, Вячеслав Иванов руку приложил».

Видимо, итальянцы дарили²¹ ей и свои книжки. Она пожаловалась, что плохо воспринимает «эти бесконечные верлибры». И сказала: «Ужасно, что вслед за Элиотом все стали так писать. На Западе уже иначе и не могут. А в России так нельзя, уровень культуры другой — и он не позволяет».

Ну, сейчас мы и к повсеместному верлибру притерпелись, хотя, если вспомнить, что страна у нас куда больше, и поэтов – соответственно, а вкупе с графоманами тем более, поневоле затоскуешь.

Повторю, тогда еще не вышел «Бег времени»²² и была только после долгих-долгих лет первая и, кажется, единственная подборка стихов в юбилейном (сотом?) «Новом мире»²³. Цветаева ходила в списках²⁴ – пом-

²¹ Установить, какие именно книги из современной итальянской поэзии были подарены Ахматовой, затруднительно – видимо, вследствие того, что они не произвели на нее впечатления. По всей видимости, свою книгу ей преподнес, в частности, Сальваторе Квазимодо, лауреат Нобелевской премии (1959) и премии «Этна Таормина» (1953), с которым она беседовала о переводе своих стихов на итальянский на вечере в ее честь в Таормине, где поэты читали свои стихи и переводы ее стихов на итальянский и др. европейские языки.

²² «Бег времени» вышел в свет в октябре 1965 г., то есть за несколько дней до описываемой встречи.

²³ Вероятно, речь идет о публикации в шестом номере «Нового мира» за 1964 год стихотворных фрагментов незавершенной трагедии «Энума элиш. Пролог или сон во сне». Публикацию предваряла врезка А. Синявского «Раскованный голос», разочаровавшая Ахматову: «Он пишет так, будто у него перед глазами только «Четки» (и ждановская пресса)! Вспоминая спустя тридцать лет об этой врезке, Синявский говорил, что Ахматова нещадно придиралась к каждому слову и довела его до того, что он ушел со словами: «Пусть о вас пишет Ермилов!» Презрительный отзыв о врезке прозвучал и во время описываемой встречи (о чем я не раз слышала), но на вечере А.Г. не собирался об этом упоминать.

ню, как по ночам переписывали друг у друга, — но, кажется, в одном из журналов появился «Мой Пушкин»²⁵. Речь зашла о нем, и Анна Андреевна посуровела. Понятно, что строгий, академичный подход к Пушкину и раскованный лиризм Цветаевой не сочетаются. И вообще поэты к Пушкину ревнивы. Мы с Якобсоном горячо вступились. Анна Андреевна недовольно пробормотала: «Мой Пушкин, черный Пушкин, белый Пушкин...» и вдруг, улыбнувшись, сказала: «Ох, уж это мне верхнее ля!». Я запомнил это на всю жизнь. И свято верю, что суть и соль не в высоте звука, нужно другое — чтобы голос был грудным. Ахматова и Цветаева — два голоса такого разного тембра, но роднит их одно. Звук рожден не в голосовых связках, а глубже.

И еще одно я запомнил. Может быть, это прозвучит неожиданно, но и для меня тогда это было неожиданным. Анну Андреевну весь вечер что-то тревожило. И заметив, что мы это чувствуем и нам это передается, она — явно, чтобы нас успокоить, — объяснила: «Должны позвонить из «Нового мира», пойдут или не пойдут мои стихи»²⁶. И добавила: «А меня это как-то даже не волнует». Но сказала с такой интонацией — не могу ее передать, — что стало понятно: сейчас это волнует ее больше всего на свете, только это, а не боги и полубоги. Поверьте, у меня комок подступил к горлу. И я вдруг увидел ее молодой, почти девочкой, которая отослала в журнал свои

²⁴ Неточность. Первое посмертное издание Цветаевой (очень небольшое и мало кому доставшееся) вышло в изд. «Художественная литература» в 1961 г. Но прежде, еще в 1944 г., были напечатаны ее переводы из Лорки — в его сборниках. Для А.Г., а потом и для переводчиков следующего поколения, эти четыре стихотворения, воссозданные Цветаевой, стали камертоном, по которому сверялись переводы. Все, конечно же, понимали, что эта высота не достижима. Об этом А.Г. часто говорил с теми, с кем вместе делали двухтомник Лорки — с В.С. Столбовым, Н. Ванханен, Б. Дубиним, Л.С. Осповатом. «Для такой точности нужен родственный дар, да и судьба равно трагическая. И страна, и время». Здесь разговор мог свернуть и на время, и на страну, но если он оставался в литературном, переводческом русле, далее следовал ряд примеров-параллелей. И среди них те строки Цветаевой, что Вяч. Иванов привел в своем предисловии к книге ее переводов («Просто сердце», М., 1967):

Так, когда-нибудь, в сухое
Лето, поля на краю,
Смерть рассеянной рукою
Снимет голову — мою.

Поразительно, что эти ее строки были написаны, когда на другом конце Европы совершалось убийство поэта, чьи стихи — четыре ее перевода — станут последней работой М.И. Цветаевой.

Разговор о Цветаевой и Лорке неизменно приводил к их общим корням — народной поэзии: «Ни тени стилизации — только суть». А последние годы, когда А.Г. переводил испанскую песенную лирику, он, процитировав какую-нибудь изумительную строфу, добавлял: «А вот бы Цветаева!..»

²⁵ Еще одна неточность. Цветаевское эссе «Мой Пушкин», написанное в Париже в конце 1936 года и напечатанное в парижских «Современных записках», было опубликовано в России только через тридцать лет, в 1967-м, в журнале «Наука и жизнь» (тираж которого достигал 3 600 000!), — и это случилось уже после смерти Ахматовой. Так что разговор, конечно же, шел о тексте, читанном в списках.

²⁶ Возможно, речь идет о публикации «Реквиема», записанного в конце 1962 г. и тогда же переданного для публикации в журнал «Новый мир». В тот год публикация не состоялась, однако, после исключения текста из «Бега времени», переговоры о журнальной публикации могли возобновиться.

первые стихи и ждет ответа так, словно от этого зависит жизнь. Потому что предчувствует – это и станет жизнью, ее смыслом и оправданием. И крестной ношей.

В стихотворении, посвященном Пастернаку, она писала: «Он награжден каким-то вечным детством...» В тот вечер мне показалось (и, может быть, я не ошибся), что и она награждена каким-то вечным детством. Как и все великие люди.

Последнее воспоминание, очень невеселое. Гражданская панихида по Ахматовой проходила во дворике морга больницы им. Склифосовского 9 марта. Прощание было безмолвным и долгим, панихида – краткой. Только что закончился процесс над Синявским и Даниэлем. Дух расправ и гонений не покинул Анну Андреевну и в последнем покое. Не знаю, чего боялись власти. Но после прощальной речи Арсения Александровича Тарковского всех попросили – я это запомнил – «разойтись не омрачая». Разошлись не омрачая.

До этого я метался по обширному двору. Электричка опоздала. Москову я знал плохо, едва нашел больницу. Я не думал, что прощание с Ахматовой будем там и так. Умом понимал, что надо найти морг и там скажут, где, в каком зале. Но морг – и Ахматова? И почему-то спрашивал, где анатомический театр. Все-таки это звучало благородней, хотя и странно. В конце концов, весь мир – анатомический театр.

Сцена с армянином²⁷.

И я еще раз ощутил, что означает быть «той самой».

²⁷ К сожалению, этот – особо помеченный для устного о нем рассказа, – эпизод никто из друзей не помнит, хотя в свое время наверняка слышали. Но, конечно, появление в этом контексте «армянина» не случайность: у Ахматовой, начиная еще с 1930-х годов, сложились с Арменией, с армянами разнообразные – и дружеские, и творческие, профессиональные связи. По ее же словам, сказанным уже в 60-е, она «всегда дружила с Арменией» (в кн. А.Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой», М., 1989, с.93). Подробно об этих связях и дружбе см. в частности: **Георгий Кубатьян**. Сквозь армянскую призму. Заметки об Ахматовой. – В его же кн. «Ворованный воздух. Статьи и заметки», Ер., 2005, с.88-117.